Яков Минченков

Максимов Василий Максимович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Максимов был типичным представителем крестьянской среды, пробившей дорогу к искусству в эпоху народничества в шестидесятых годах.

Чего стоило крестьянскому юноше попасть в город и учиться здесь! У Максимова это был сплошной подвиг, горение духа, которое опрокидывало все препятствия на пути к достижению намеченной цели и делало его борцом за современные идеи в искусстве. И небольшая фигура Максимова при воспоминании об условиях его жизни, обо всех поборенных им препятствиях, о его настойчивости и его достижениях вырастает в определенный положительный тип, которому надо отдать дань признания…»

- Яков Данилович Минченков
  -
  - Примечания

Яков Данилович Минченков
Максимов Василий Максимович

Максимов был типичным представителем крестьянской среды, пробившей дорогу к искусству в эпоху народничества в шестидесятых годах.

Чего стоило крестьянскому юноше попасть в город и учиться здесь!

У Максимова это был сплошной подвиг, горение духа, которое опрокидывало все препятствия на пути к достижению намеченной цели и делало его борцом за современные идеи в искусстве. И небольшая фигура Максимова при воспоминании об условиях его жизни, обо всех поборенных им препятствиях, о его настойчивости и его достижениях вырастает в определенный положительный тип, которому надо отдать дань признания.

На вечере Московского художественного общества в десятую годовщину смерти Максимова о нем прекрасно вспоминал Аполлинарий Михайлович Васнецов.

А в эти минуты, когда я упоминаю имя Васнецова, печать приносит извещение, что и его уже не стало.

Не могу не посвятить страницу свежей памяти о добром старом передвижнике.

Хотя он в конце своей деятельности перешел в «Союз русских художников», товарищи-передвижники все же считали его родственно своим, и в их среде он поминался всегда добром.

Близко мне не пришлось его знать – он вел довольно замкнутую жизнь и появлялся только на деловых собраниях и в Училище живописи, где состоял преподавателем пейзажного класса после Левитана, – однако общий облик его как человека и художника обрисовался для меня ясно.

Это была трезвая и честная натура как в жизни, так и в искусстве.

Большой труженик, много работавший, читавший, изучавший историю, в особенности историю Москвы, он бережно, любовно вынашивал свои образы и всегда давал значительное в своих произведениях. Не торговал искусством и не разменивался на мелочи.

Речь его была всегда деловая, спокойная и содержательная. Однако он не был безразличным и равнодушным к добру и злу.

Никогда не забуду одной сцены, когда Аполлинарий Михайлович выступил на защиту своего младшего товарища, «ущемленного» в своих правах сильным членом из Правления

Товарищества.

Васнецов, страшно возбужденный, с нервной дрожью в голосе, так жестоко обрушился на бюрократизм Правления и на неуместный тон его представителя, что было жутко слушать его речь.

– Как! и вы могли допустить такое отношение к своему товарищу? – почти со слезами говорил он. – Кто дал вам на это право? Разве мы не равные в Товариществе? Разве у нас позволительно это генеральство? Самый слабый из нас, но честный работник в искусстве – равноправный член Товарищества, и мы не допустим к нему высокомерия!

Видно было, что этот с большой выдержкой человек при необходимости сумеет постоять и за себя и за других, постоять за правое дело.

Выйдя из Товарищества передвижников, он не забывал старых товарищей следил и интересовался их работами и появлением молодых сил на выставках.

В работах Васнецова чувствовалась его любовь к живописной старине и, несмотря на некоторую декоративность его исторических пейзажей, верилось в доподлинность московских улиц, дворов и уличных сцен, овеянных романтизмом. Хорошо делал он рисунки карандашом и углем с легкой раскраской акварелью. По внешности он был русак: высокого роста, с русыми волосами, глаза голубые, а лицо постоянно румяное, без бороды, и моложавое, не выражающее возраста. Тембр полоса особенный, вибрирующий, точно с обертонами.

В моей памяти с ним связывается такая сцена.

В училище живописи чествовали пятидесятилетний юбилей профессора В. О. Ключевского, читавшего там русскую историю. Аполлинарий Михайлович поднес ему адрес в виде грамоты с видом Москвы XVII века. При чтении адреса Ключевский в долгополом сюртуке стоял, перебирая тонкими пальцами кончик длинной бороды. Типичная была фигура – словно древний думский дьяк. Потом, обратившись к нам, своим ученикам, и смотря через очки, хитро, по-своему, улыбнулся складками от носа к губам и произнес тихим голосом: «Спасибо вам искренне. Я всегда рад был тому, что вы, художники, понимали меня и тогда, когда я должен был молчать».

Они стояли рядом: великий художник слова, в лекциях по истории рисовавший нам живые сцены древней Руси, и художник живописи, воспроизводивший их в картинах, а зал был наполнен громом аплодисментов чуткого юношества.

В воспоминаниях Васнецова Максимов обрисован как тонко

воспринимающая, чуткая, поэтическая натура и в то же время активная, неуклонно идущая к намеченной цели.

Крестьянский мальчик, обнаруживший большое желание и способности к рисованию, он был отдан в монастырскую иконописную мастерскую, стал послушником монастыря.

Юношей он бродил в окрестностях монастыря, переживая впечатления от природы и чувства, свойственные его возрасту. Во время своих скитаний по полям и рощам, он встречает девушку, знакомится с ней и передает ей все свои пылкие мечты.

Сердце девушки откликается на них отзывчиво, и здесь завязывается первая глава житейского романа Василия Максимовича.

Как во всяком порядочном романе счастье дается герою не просто, а после упорной борьбы и страданий, так и первая глава максимовского романа была лишь завязкой к сложной романтической канве и скоро уступила место дальнейшему ходу событий, осложненному житейскими препятствиями.

Девушка была дочерью местного помещика, и крестьянин Максимов, бедный послушник монастыря, не мог быть для нее парой. Родители ее прерывают их роман, и дело дошло до того, что Максимов должен был покинуть монастырь и скрыться с горизонта помещичьей усадьбы.

Отсюда начинается борьба героя за свое счастье, осуществление своей мечты. Начинается вторая глава романа.

Максимов уезжает в Петербург и добивается того, что его принимают в Академию художеств. Его цель – стать художником и вернуться к предмету своего романа не послушником, не бесправным крестьянином, а человеком, признанным в широких кругах общества. Он надеется на верность чувств дочери помещика, которую считает своей невестой, и это укрепляет его в дальнейшей борьбе.

Итак, он стал студентом Академии, а как жилось ему тогда в Питере – он сам нам рассказывал.

Прищурит глаза, пустит громадный клуб табачного дыма, и не видно станет лица, только кудрявая шевелюра.

– Эх, батюшки мои, рассказать вам, как жилось нам в то время? По-разному, – а бедноте больше так, как мне.

Пришел я в Питер и прямо на штаб-квартиру – на барку с сеном на Неве. Пробил там нору и устроился хорошо. Со сторожами табачком делился, чтоб не гнали, а насчет обеда – как придется. Большей частью – в харчевне на барке за четыре копейки щи с кашей без масла и за восемь с маслом. Кое-что красил в кондитерской или по малярной части, этим и питался.

Вот когда приходила зима, квартиру надо было менять.

Нашел я уголок у немки, добрейшая была хозяйка, живу, плачу, конечно, по своим средствам, ничего – терпит, даже когда задолжаю – не требует, а как весна придет, ни с того, ни с сего доброта у нее пропадает.

Войдет ко мне и грозно: «Василь Максимыч! Бери свой муштейль (так она называла муштабель) и иди на другой квартир».

Ну что ж, багаж невелик, брал свой «муштейль» и шел отыскивать другой угол или где еще на барке осталось сено. А зимой – опять к немке.

Выходил я на конкурс. Тогда уже у нас головы кипели от нового духа. Куда тебе! Давай нам теперь русское, разрешение писать, что хочется, а нас все пичкают мифологией да из священного писания. Душа переворачивалась, как поставишь, бывало, рязанского мужика и выкраиваешь из него Ахиллеса быстроногого. А другого просишь: «Ты, брат, завтра хоть брюхо подбери, а то с тебя распятие писать придется».

Ну, наконец, дописался до медалей, выпускать на конкурс будут, а тут весна, жду, когда хозяйка про муштабель вспомнит.

Подожди, дай, думаю, заработаю. Написал картину из русского быта, держу ее у себя, чтоб профессора не увидели, и хочу ее продать. У меня приятель был, студент университета, и с некоторыми средствами. Увидел: картину и в одну душу – продай да продай, говорит, ее мне. «Не по карману, – говорю, – тебе будет, я за нее назначил семьдесят рублей». Соглашается, только так, чтоб тридцать деньгами, а на остальную, сумму предложил полный костюм, сорочку, ботинки и шляпу-цилиндр.

Ладно, так и так, хоть прибыль небольшая, да и убытку нет.

Принес он деньги и полный гарнитур. Надел я впервые в жизни крахмальную сорочку, сюртук, начистил ботинки, а на голову насадил: цилиндр. В руках у меня, конечно, тросточка. Глянул в зеркало – прямо Евгений Онегин, хоть картину пиши.

Подхожу к парадным дверям Академии. Швейцар открывает дверь, бросается услужить барину, хоть тросточку повесить на вешалку, а потом смотрит на меня разиня рот и со словами: «Максимыч, да это ты?» – разражается таким смехом, что из канцелярии выбежали узнать, в чем дело.

Поворачивают меня во все стороны, щупают, сбежалась, кажется, вся Академия. Ну, словом, была потеха и такой гром хохота, какого Академия, сколько стоит, никогда, вероятно, не слыхивала.

Из дома я выходил так, что хозяйка меня не видела, – думаю, что она теперь скажет? Подхожу к квартире, звоню, хозяйка отпирает и сперва не узнает меня. Я становлюсь в позу, а она

всматривается, приседает, и что вы думаете – я ей теперь, видимо, понравился. «Василь Максимыч, – говорит она с реверансом, прижимая руки к груди, – какой вы, красивый, как монумент! Теперь вам другой квартир не нужно».

Вот этот костюм потом и сослужил мне большую службу.

Говорить, что ль про это?

Мы просим:

– Расскажи, Максимыч, если правда!

– Истинная правда, – говорит Максимов, – потому что сбрехать так, как было, я не сумею, ну, просто, как в романе. Вот послушайте.

В это лето, как получил я костюм и деньги, собрались мы с товарищем поехать на этюды в деревню, в Вологодскую губернию, где у товарища был знакомый фельдшер. Взял я с собой и все свое имущество, даже шляпу-цилиндр. Поселились в деревне, ничего себе и питались неплохо. Фельдшер давал товарищу ружье, и тот кое-что подстреливал. Была у нас частенько и дичь к обеду, и молока и масла – сколько хочешь: у фельдшера две коровы паслись.

Одежонка у нас была скудная, костюма своего я, конечно, в деревне не надевал, ходили в летних рубахах, которые сами и стирали. Пойдем, бывало, на реку, снимем с себя все до последнего, постираем и повесим на дерево сушить, а сами купаемся, пока платье наше сохнет. Помнем его потом, потянем и опять на себя.

Ладно. Только раз влезли это мы в воду, плескаемся, а на берегу мольберты стоят с ящиками от красок. Смотрим – по дороге невдалеке коляска катит, барыни под зонтиками и с кучером лакей в ливрее. Батюшки мои, откуда этот сон? В деревне бар не было. Видим – коляска стала, и в нашу сторону лакей бежит. Сидим по шею в воде, ждем, что будет.

Подбегает лакей и спрашивает, кто мы такие будем. А мы тоже задаем вопрос: «А по какой это надобности?» – «Графиня, – говорит лакей, – приказала о вас справиться».

Товарищ как услыхал слово «графиня», так даже с головой в воду нырнул, а я отвечаю: «Скажите графине, что мы художники из Санкт-Петербурга и работаем здесь на этюдах».

Побежал лакей к графине и сейчас же обратно возвращается. «Графиня приказала, – говорит, – просить вас пожаловать к ней. Завтра в воскресенье в двенадцать часов на завтрак».

Я недаром прочитывал романы; вспомнил обращение в высшем обществе и говорю:

– Передайте ее светлости благодарность за приглашение и скажите, что в назначенное время мы прибудем.

Дело произошло как во сне, и мы даже забыли спросить, куда же, собственно, придется нам идти.

Приходим домой, рассказываем хозяину все, как было.

Он объяснил: верстах в четырех отсюда, через лес, есть старинная графская усадьба, куда на лето приезжает вдова графа, француженка, и там живет до осени с племянницей и компаньонками. Двор богатый, советовал бы посмотреть.

Мы уже и без того обещали, и надо было идти. Но тут вставал вопрос – во что же нам одеться? В наших сорочках нельзя было показаться в графском обществе, а если был у меня городской костюм, то один. Как другому быть?

Решили ходить по очереди в моем костюме. Я просил товарища пойти первым. Его звали Тит Титыч Меринов, способный был человек, да скоро умер.

В воскресенье обрядил я его в свой парад, как к венцу, рост его подходящий к моему, и сюртук сидел прилично. Шляпы не дал, посоветовал почаще платком от жары обмахиваться и говорить, что по этой причине он и головною убора не носит.

Прошли мы лесок, показался барский дом в два этажа с фронтоном. Сели мы на опушке, любуемся, я начал товарищу советы давать, как там надо себя вести. Тит говорит: «Не учи, я сам читал книжку «Хороший тон кавалергарда» и знаю, что рыбу едят вилкой». – «Врешь, – говорю, – зубами». Поспорили, а потом благословил я его на подвиги, а сам вернулся домой и жду его возвращения.

Приходит Тит к вечеру, сам не свой, рассказывает чудеса. Дом – дворец, паркет, лакеи, горничные. Сама графиня почти не говорит по-русски, но три компаньонки трещат безостановочно и переводят все ее слова. Узнали, как звать товарища, и наперебой звали его по имени и отчеству, а сама графиня звала «Тити, Тити, Тити»…

«А еще, – говорит, – там племянница графини – ну, так это…» – и не стал дальше распространяться. Вижу, что дело у него на этой точке что-то запнулось.

Среди неделя пошел уже я в графскую усадьбу с цилиндром в руке и с тросточкой.

Действительно, оказалось почти все правильно, как говорит Тит, только он не упомянул про котеночка с голубым бантом на шее, с которым постоянно возилась племянница.

Спрашивают, почему не пришел «Тити-Тити». «Зубы, – говорю, – у него разболелись».

Через три дня пошел снова Тит к графине, и у него про меня спрашивали. Он тоже ответил, что у меня зубы болят. Старая компаньонка прислала ромашку для полоскания, и все просили,

чтобы мы пришли вместе.

О племяннице Тит если и говорил, то с большим замалчиванием. Вижу, что тут дело было уже на крючке. Тит таков был, что как увидит молодой женский пол, так и потеряет голову.

На этом месте почти все прерывали Максимова:

– Постой, постой, а ты разве забыл, что с тобой было в свое время?

А Максимов конфузливо:

– Ну, у меня другое дело, сами знаете – покрепче все выходило, но послушайте, что дальше нас ожидало – чудеса!

Пустил дыма тучу из толстейшей папиросы, поскреб в вихрах и продолжал:

– Как же идти вдвоем к графине, где взять второй костюм? Обратились к фельдшеру, у него ничего подходящего не оказалось, но он подумал, подумал и говорит: «Вот что, пойдите-ка вы к мельнику, недалеко отсюда в лесу на речке, у него, пожалуй, найдете». – «У мельника? У него-то откуда?» – «А вот там узнаете, вам ничего не стоит, недалеко, и прогулка хорошая».

Пошли мы и нашли речку и мельницу, седую от времени и мучной пыли. Чмокают колеса, внизу темно-зеленый омут. Тит в восторге от пейзажа, собирается прийти сюда писать.

Вышел мельник, еще довольно молодой, обликом никак на мельника не похожий. Узнал, кто мы, и особо радостно повел нас в избу. Живет, видимо, в довольстве, в избе чисто и обстановка приличная, хотя на севере такие дома встречаются и у крестьян. Жена миловидная, приветливая. Славный белокурый мальчуган кругом матери вьется. Говорит хозяин по-городски. Угощает нас чаем с медом, молоком, хлеб белый.

Мы объяснили ему, зачем пришли: нет ли у него подходящей одежи. «Для вас – говорит, – найдется, пойдемте примерим».

Пошли в спальню. Кровать, стол, сундук, а на стенах… мы так и ахнули: отличные этюды академических обнаженных натурщиков и натурщиц.

«Это, – говорит хозяин, – я здесь держу, а то крестьяне как увидят, так плюются». – «Да откуда вы их здесь добыли?» – «Откуда? – мельник сел на сундук и горько улыбнулся. – Сам писал».

Тит даже привскочил.

– Голубчик мой, да как же это так?

– А так, что и я учился в Академии. В детстве любил я рисовать; как найду бумажку, уголек – целый день не оторвешь меня от рисования. Случилось так, что покойный граф, в усадьбе которого вы бываете, охотился и заехал позавтракать к отцу

моему, тоже любителю охоты. За завтраком слуга вынул из погребца бумагу, положил на стол, а я стащил ее и стал рисовать самого графа и собак.

Граф увидел рисунок и говорит отцу: «Его надо отдать в ученье, будет у меня дворовым художником».

Отец сперва не соглашался, на коленях просил графа не соблазнять и не губить сына, а потом махнул рукой, и меня отвезли в Петербург, где я жил в людской у барина. Меня подучили и отдали в Академию. Дошел я до натурного класса. Граф умер, а отец прислал письмо, что не может уже вести мельницу постарел и болен. Писал, что там, в Питере, неизвестно, что со мной будет, а тут верный кусок хлеба. Зазвал меня к себе, и тут я как-то незаметно для себя прирос. Подвернулась девушка, женился, сынишка родился. Ничего, об этом не жалею, а только на искусство крест поставил.

Так вот к свадьбе мне отец суконную пару справил. После венца я ее почти не носил, спрятал в сундук, к похоронам своим оставил, а теперь примерьте – может, вам подойдет.

Вынул костюм из сундука, примерили. Титу точь-в-точь, только брюки надо подшить – длинные.

Хозяин говорит:

– Даю вам с условием, чтоб мне не возвращали. Все равно костюм мне теперь тесен, и не хочу его на смерть иметь, пусть вам он в жизни послужит.

Как ни толковали, а пришлось согласиться.

Провожали нас, выбежал его мальчик кудрявый. Отец гладит его по голове: «Смотри, – говорит, – вот они, настоящие художники», – а у самого слеза блестит на щеке.

– Эх, други мои милые! – не утерпел и добавил Максимов: – И в вологодских лесах человеческое сердце бьется!

Ну, так вот: обрядились мы теперь вдвоем и явились к графине к обеду. Тут дело было труднее, чем за завтраком. Подавались такие кушанья, что мы не знали, как с ними обходиться и как есть. В конце обеда подали к кофе маленькое пирожное на тоненьких загнутых металлических пластинках. Все брали пирожное маленькими вилками, а Тит пялил глаза на племянницу и всадил в рот пирожное вместе с жестянкой. Видит, что дело дрянь, но не выплевывать же на тарелку жестянку, и стал он ее во рту зубами катать в шарик, чтоб можно было проглотить.

Котенок племянницы по нашим спинам цепляется, играет, а племянница обращается к Титу: «Когда у моего котеночка будут детки, так я назову их всех Тити-Тити. Вы позволите мне их так называть?».

Тит давится от жестянки во рту, катает ее по всем углам и только головой кивает в знак согласия.

Обед кончился, и Тит проглотил жестянку.

Графиня обратилась к нам с какой-то просьбой, в которой часто повторялось слово герб, герб. Переводчицы подсказали, что она просит нарисовать ей герб.

Что же, дело небольшое; подумали, что придется изобразить герб на платке или скатерти, охотно соглашаемся. Оказалось, герб надо писать на фронтоне дома, выше второго этажа, с подвязанной деревянной люльки, как это делают маляры и штукатуры.

Вот влопались, черт бы их побрал! Но делать нечего, писать придется, как обещали.

Всю дорогу, как шли мы домой, пилил я Тита. «И дернула же тебя, – говорю, – нелегкая жестянку проглотить, теперь заметят, что ее нет, что подумают? А еще говорил, что хороший тон изучал».

А он трет живот и успокаивает меня: «Ничего, если жив останусь, дело поправлю».

Ну и поправил, нечего сказать!

Пришли мы на другой день, чтоб герб писать, а он подошел к компаньонке и говорит: «Передайте графине, что если будут искать жестяночку с моей тарелки, пусть не подумают чего на прислугу, это я ее проглотил».

Стал я его опять ругать: «На кой черт ты в этом признался, теперь скажут: вот крокодил объявился, все глотает». А Тит доказывает: «Тебе хорошо говорить, а подумай: жестянка, может, серебряная была, и за нее невинный человек пострадать мог. И с тобой, – говорит, – оплошность случиться может».

Ну, ладно. Качались мы на подвешенных перед фронтоном досках, любовались с них прекрасным видом окрестностей и написали проклятый герб.

Пришла пора возвращаться в Питер, и мы явились к графине с прощальным визитом. Нам подали кофе, печальный Тит не ел, не пил, племянница дала ему вырванный из альбома надушенный листок с их петербургским адресом и от имени графини просила нас бывать у них в городе. Потом села за рояль и пропела романс. Тит таращил на нее глаза, а котенок прыгал, прыгал по нашим спинам и, наконец, скрылся.

Подошел, как говорят, момент разлуки. Мне захотелось не ударить лицом в грязь и уйти с эффектом. Раскланиваясь во все стороны, я стал пятиться задом в переднюю, где стоял на столике мой цилиндр. При последнем поклоне быстро схватил и взбросил его на голову.

О, проклятый котенок! Он притаившись, сидел в цилиндре, вывалился из него мне на голову и, запутавшись в моей шевелюре, повис, анафема, над моей физиономией, стараясь сползти, как с дерева, хвостом вниз.

Должно быть, картина была великолепная, потому что хохотали все до слез, а я стоял, нагнувшись вперед, в нерешительности растопырив руки.

Прощай, деревня. Добрались мы до железной дороги, сели в вагон и покатили в Питер. Листья начали уже грустно желтеть, Тит вздыхал в открытое окно, а потом достал надушенную записку племянницы и стал ее без конца перечитывать.

Я не утерпел:

– Что ты, говорю, – думаешь? Неужели ты и в Петербурге хочешь лазить под небеса им гербы расписывать? Это ради скуки мы им летом годились, а там, в городе, у них свой брат заведется, и мы, мужичье, хоть и художники, нужны им лишь для потехи, как скоморохи.

– Ты правду говоришь? – спрашивает Тит.

– А как же? Твоим именем только кошачье потомство увековечат и будут звать его – Тити, Тити, Тити.

– Правда? – повторяет Тит.

– Сущая истина!

– Ну, когда так, – печально решает Тит, – так ну их к лешему. Порвал он записку на кусочки и пустил их из окна по ветру.

Этим и закончил Василий Максимыч свой рассказ.

Жизненный роман Максимова продолжался, в восьмидесятых годах наступила его третья глава.

Борьба и страдания героя заканчиваются, он выходит из них победителем.

Максимов кончает Академию, является в усадьбу своей невесты уже признанным художником, и родители ее соглашаются выдать за него свою дочь.

Он становится счастливым семьянином, вступает в кружок Крамского, делается активным членом Товарищества передвижников и приобретает известность своими картинами из крестьянского быта.

Максимов не затронул глубоких крестьянских запросов, не был полным выразителем крестьянских дум, нужды и горя, его картины рисуют скорее внешний быт крестьянской среды; но эта передача верна, без всякой утрировки, без сгущения красок ради тенденции. Это был первый любовный взор художника на жизнь крестьянства.

Его картина «Приход колдуна на свадьбу» по тогдашнему времени, отличалась и живописью, верной передачей вечернего

света.

Наибольшую популярность в обществе получила его картина «Все в прошлом». И надо согласиться, что картина глубоко прочувствована и передает определенную эпоху. В угасающей старой помещице, доживающей последние дни свои в бедной крестьянской обстановке, прекрасно выражено воспоминание о прежней широкой и роскошной помещичьей жизни.

Такие же переживания передал потом Чайковский в «Пиковой даме», в арии старухи-графини.

Максимов получал множество заказов на повторение этой картины, которая одна подкрепляла его финансовые резервы.

К сожалению, картина эта явилась лебединой песнью в творчестве Василия Максимовича. От нее начинается глава последняя, печальный эпилог его жизни.

Максимов теряет связь с деревней, а в городе не находит содержания для своего творчества. В искусство проникают новые течения, требования формальной его стороны, живописи, красок, но эта сторона не может удовлетворить Максимова. Ему важен рассказ, бытописание, а о чем рассказывать, он в это время не знает, не находит сюжета для картины и начинает хиреть.

Для него самого все уже становится в прошлом. Новые явления в искусстве его лишь раздражают, он в них не верит и их не признает. Часто видишь его хмурое лицо, хитровато прищуренные глаза и слышишь ворчливый голос: «Теперь, вишь баре в искусство пошли, щеголи во фраках, а нашему брату лапотнику делать нечего». Недовольно вертит все еще кудрявой головой.

А молодые силы платят ему тем же: не признают его старых заветов, считают его отсталым. Максимов замыкается в себе и все дальше отходит от художественной жизни. Не посещает товарищеских собраний, прячется куда-то и – не могу слова выбросить из песни – начинает свою горькую участь топить в вине.

В нем ищет забвения тяжелой обиды, которую в конце нанесла ему жизнь.

На выставках почти не появляются его вещи, а если случится какой-либо этюд, то его уже и не замечают.

Не видать его и на домашних вечерах товарищей.

Где Максимыч? Увы, он болеет и все чаще и чаще.

Академия дает ему мастерскую в верхнем этаже, чтобы он там мог свободно работать, а он находит компанию разделяющих его слабость дворников и с ними в подвальном помещении проводит время за вином.

Жизнь, которую раньше Максимов подчинял своей воле,

наконец, отомстила за свое подчинение и, найдя слабую сторону в натуре художника, опрокинулась на него всей тяжестью своего мещанского непробудного содержания и придавила его к земле.

Его поэтическая фигура расплылась в ненастных петербургских сумерках. Кто из товарищей и когда отнес ему прощальный венок – не знаю.

Примечания

Максимов Василий Максимович (1844–1911) – живописец-жанрист. Родился в крестьянской семье, рано осиротел; восьми лет отдан в монастырскую школу. Был учеником у иконописцев, позже поступил в петербургскую Академию художеств. В 1866 г. отказался от конкурса на большую золотую медаль, оставил Академию и уехал в деревню, посвятив свое творчество изображению близкой ему крестьянской жизни. С 1871 по 1912 г. его произведения экспонировались на передвижных выставках (с 1874 г. – член Товарищества). С 1878 г. – академик. Демократ по происхождению и по убеждениям, талантливый художник, Максимов был стойким последователем идейных принципов передвижничества, воплощенных им в ряде значительных произведений живописи критического реализма («Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел», «Больной муж» и др.).

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – крупный русский историк, профессор Московского университета.

Картины В. М. Максимова «*Приход колдуна на крестьянскую свадьбу*» (1874) и «*Все в прошлом*» (1889) находятся в Государственной Третьяковской галерее.